

ТЫ
(не) мой
УПЛЕЙМАН

Добрута элси Дэ
Мэйн НО

Decorative elements: a large black stylized 'C' shape, a gold ring, a gold dollar sign, and a red heart.

Лебрута Ла Майя Но Ты (не) мой Сулейман

<https://litres.ru/74448924>

Аннотация

Рубец от ножа и дорога любви - одна и та же линия.

Запомни, чайори.

И если когда-нибудь тебе скажут, что любовь не стоит боли, посмотри на свою ладонь. На линию от запястья до среднего пальца. Проведи по ней пальцем. Чувствуешь?

Вот это - и есть ответ.

Цыганские кланы. Мистика. Колдовство. Передвижной цирк с шатром из ста лоскутов. Бабушка, которая бросает монеты и никогда не ошибается.

Гиф-иллюстрации и арты ♥# Мой брак с цыганским бароном должен был спасти семью. Холодная сделка. Мёртвые буйволы, живой долг, золотое кольцо на палец и молчи. Я была готова. Пока не встретила его сына.

Один взгляд у фонтана.

Один палец на моей щеке.

И мир перевернулся так, что я до сих пор не знаю, где дно.

Его отец купил меня.

Их руки сводят меня с ума.

Между ними нет правильного выбора.

Если откажусь от свадьбы, семья потеряет всё. Если выйду замуж, что получу я?

Говорят, что я русалка: мои глаза чернеют, когда я вру. А врать придётся всем.

Роман выходит в рамках литмоба "Цена любви"

Содержание

Глава 1. Тэрнэ рат (Молодая кровь)	5
# Гиф иллюстрация # Сулейман и Патрина♥	15
Глава 2. Барвалó (Богатый)	16
Глава 3. Кхэр парнó (Белый дом)	29
Глава 4. Якхá зелéно (Зелёные глаза)	42
Глава 5. Хочу	63
Глава 6. Имаджина́риум	71
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Глава 1. Тэрнэ рат (Молодая кровь)

Чайори – так мы называем ту, которой доверяют тайну.

Стань моей чайори. Я научу тебя отличать настоящее золото от фальшивого по звуку, гадать на монетах и понимать по глазам мужчины – спасёт он тебя или погубит. Покажу, как танцует огонь, когда его кормят травами мёртвых. Как двухтонные буйволы движутся под скрипку с грацией, от которой перехватывает горло. Как пахнет свечной воск на чужих пальцах – рыжеватый, пчелиный, тёплый, – когда эти пальцы касаются твоей шеи, и как от одного прикосновения можно потерять всё.

Я расскажу, как девушку продали за стадо мёртвых буйволов. Как мужчина, который купил её, оказался страшнее проклятия. И как его сын...

Его сын.

Если перехватит дыхание – значит, я рассказываю правильно.



Добро пожаловать в Джипсилэнд ##
впереди гифки и арты с героями, горячие цыганские стра-
сти,
переворачивай страницу ##

Пальцы пахли свечным воском, рыжеватым, густым, пче-
линым, и лошадиным потом, горьковатым, мускусным, въев-
шимся в ладони до самой крови. Когда эти пальцы коснулись
моей шеи, всё замерло внутри. Как замирает зверь, услышав-
ший в темноте дыхание другого зверя. Бежать или остаться.
Остаться или сгореть.

Нет. Не отсюда.

Отсюда: мёртвый буйвол посреди двора, раздутый, как
чёрная туча, упавшая на землю и не сумевшая подняться.
Мать Кэтэри на коленях перед ним. Воеет. Не плачет. Воеет
тем звуком, который идёт не из горла, а из утробы. Из то-
го места, где зарождается жизнь и куда первым приходит го-
ре. Ноябрьский рассвет цвета грязного молока. Иней хру-
стит под босыми ступнями, и дорога через двор знакома каж-
дой ступне, каждой косточке, каждому вдоху. Знаю всё, ещё
ничего не увидев. У нас, Лэутари, знание приходит раньше
глаз. Через пятки. Через кожу. Через ту древнюю, звериную
часть крови, которую чужаки давно растеряли, а мы сберег-
ли.

Нет. И не отсюда.

Раньше. Мне шесть. Фургон пахнет кедром и нафталином.

Бабушка Дрина держит мою ладонь, ведёт жёлтым ногтём от запястья до среднего пальца, по линии, которую мы зовём *дром-и-камэскро* (*дорога любви*).

Ту биболдо, чайори (ты рождена для уплаты долга, девочка).

В её голосе хрустит что-то, как ветка под ногой.

Два сердца будут биться для тебя. И одно ты раздавишь.

Мне шесть. Вырываюсь, убегаю, залезаю на спину старому быку Нанó. Сижу до заката. Шкура пахнет рекой, глиной, мокрой травой. Кажется, так будет всегда.

Нанó мёртв теперь. Двести тридцать восемь чёрных тел на берегу отравленной запруды.

Прости, чайори. Боль не умеет ходить по порядку. Мечется, как лошадь в горящей конюшне, бьётся о стены, ищет выход, и выхода нет.

Сначала.

Меня зовут Патрина. На романи «патрин», это лист указатель, который кочевые цыгане клали на развилках, чтобы идущие следом знали путь. Знак. Судьба, написанная на живом.

Мне двадцать. Волосы чёрные, до пояса. Кожа цвета гречишного мёда, того тёмного, который горчит, потому что настоящий.

А глаза тёмно-зелёные. Не чёрные, как у всех Лэутари. Дерзко, нагло, колдовски зелёные. Дрина говорила: такие бывают у тех, в чьём роду есть *лоховлица* (*русалка*). Женщи-

на воды, которая выходит на берег в полнолуние и забирает мужчин. Они не сопротивляются, потому что лоховлица по дороге ко дну дарит такое наслаждение, что смерть становится честной платой.

И одна деталь, чайори. Запомни, потому что скоро пригодится. Когда я вру, зелень в глазах гаснет. Чернота затекает в радужку, как чёрные чернила в чистую воду. Ни один человек не может определить, вру я или нет. Но глаза выдают. Тем, кто знает, куда смотреть.

Джипсилэнд, наша ферма. Двести гектаров вдоль Тисы. Ива прапрадеда Йоноши. Буйволы, которых он привёл из-за Карпат двести лет назад. И цирк. Фургоны, раскрашенные как лихорадочный сон, шатёр из ста лоскутов, скрипка младшего брата Пэтши, зеркальное платье, в осколках которого люди видят своих мёртвых.

Всё кончилось в одну ночь. Яд в запруде. Стадо легло. Полиция приехала и уехала, мы цыгане. Три дня хоронили. Дрина жгла *кхам-и-мулэнгро* (*огонь мёртвых*), и рыжий дым пах мёдом, и от этой сладости над трупами хотелось выть.

На четвёртый день отец произнёс одно имя.

Сулейман.

И заплакал.

Чайори, ты когда-нибудь видела, как плачет мужчина, ломавший подковы голыми руками? Две слезы. Тихие. Медленные. Каждая весит по килограмму, ползёт по небритой скуле и дрожит на подбородке, не капая, будто стыдясь са-

мой себя. Сильнее этих слёз я никогда ничего не видела. Ни грозы над Тисой. Ни мать, воющую над Нанó. Ни пожар, сожравший цирковой фургон, когда мне было восемь.

Две слезы отца. Двести тридцать восемь мёртвых буйволов. Пятнадцать лет долгов. И одно имя, произнесённое вполголоса, как произносят слово *бог*.

Я знала, что будет дальше. Знание пришло, как всегда, через пятки, через кожу, через то место под рёбрами, где у женщин Лэутари живёт древняя птица, которая умеет видеть. Встала из-за стола. Подошла к отцу. Положила ладонь ему на затылок, там, где жёсткие чёрные с проседью волосы спускались к шее. Грубая тёплая кожа. Запах табака и сена.

Сказала тихо: *я готова*.

Он не поднял головы. Сжал мою руку и не отпускал, пока пальцы не затекли. А когда отпустил, под его ладонью осталась мокрая метка, и я знала: это третья слеза. Та, которую он уберёт от меня.

Дрина ждала меня во дворе. Маленькая, скрюченная, в чёрном платке. Ей восемьдесят, и она самая красивая женщина из всех, кого я знаю. Красота не юности, а знания. Каждая морщина у неё как строка из старой книги, которую нельзя прочитать дважды.

Она взяла меня за руку. Повела к иве Йоноши.

Ива шевелила ветвями, хотя ветра не было. Она делает так, когда в роду что-то решается. Мы сели под ней прямо на мёрзлую землю. Дрина вынула из кармана передника *дикхлэ*,

гадальные монеты. Старые, тяжёлые, с глухим звоном, будто в каждой заперт чей-то голос.

Бросила на платок.

Раз. Два. Три.

Лицо её темнело с каждым броском. Тени от ивовых ветвей ложились на её скулы, и казалось, что она сама становится частью дерева, что кора ивы поднимается по её рукам и скоро поглотит её всю.

Яг, сказала наконец. Большой огонь, чайори. Ты сгоришь. С кем?

Она посмотрела на меня. В её выцветших глазах, когда то чёрных как речная вода ночью, плавал страх.

Вопрос в том, от кого загорись и кого сожжёшь.

Собрала монеты в кулак. Костяшки побелели.

Два сердца будут биться для тебя, помнишь, что я сказала, когда тебе было шесть? Одно ты раздавишь. Но есть и третье условие, о котором я молчала. Третье сердце, то, что заденет тебя искрой, тоже горит. Ты узнаешь его по запаху.

По какому запаху?

Дрина закрыла глаза. Провела сухим пальцем по моей щеке, от скулы к подбородку.

Воск. И лошадиный пот.

Ветер тронул ивовые плети. Они зашуршали, как шуршат юбки женщин, идущих к воде.

Запомни, чайори: камибэн (любовь) это чурі (нож). И

нож всегда, слышишь, всегда режет того, кто держит.

Ушла в дом. А я сидела под ивой до тех пор, пока иней под моими голыми ступнями не растаял, превратившись в мокрое пятно, и я подумала: вот так и я растаю. От чего то, чего ещё не знаю. От запаха, который ещё не слышала. От мужчины, у которого ещё нет лица.

И тогда, чайори, я впервые испугалась не за ферму, не за отца, не за мать, воющую во дворе, а за себя. Потому что когда Дрина говорит про огонь, огонь приходит. Всегда. И я сидела под ивой и гадала: какие у него руки, у этого огня? Какой голос? Какие глаза у того, в чьём запахе соединились свечной воск и лошадиный пот?

А знала бы я, чайори, что до нашей встречи оставалось всего семь дней, я бы, может, побежала. Куда угодно. На край света.

Или нет. Нет, не побежала бы. Потому что от своей судьбы не убегают. Её встречают. Босые, под ивой, с монетами бабушки, упавшими рубашкой вниз.

Монеты упали именно так, кстати. Все три раза. Рубашкой вниз.

А это значит, чайори, в гадании Дрины, только одно. Свадьбу не отменить.



Не закрывай книгу, чайори. Через семь дней он придет на чёрном «Майбахе», и двор уменьшится, когда он войдёт. Через семь дней он возьмёт меня за подбородок двумя пальцами, и на коже останется ожог. Через семь дней моя жизнь продается за мёртвое стадо, и на двор въедет одно кольцо, которого он ещё не носил, но уже купил для меня.

А через восемь дней я встречу его сына. И тогда, чайори, и только тогда, я пойму, о каком огне говорила бабушка.

Останься со мной. Я одна не выдержу.

Гиф иллюстрация

Сулейман и Патрина♥

Знаете это чувство, когда он наклоняется к тебе, а внутри всё кричит «не тот, не тот, не тот»?

Когда губы чужие, а в голове стоит запах воска и лошадиного пота с чужих пальцев?

Когда тело умнее головы и отворачивается само, потому что кожа помнит правильные руки, даже если ты сама себе в этом не признаёшься?

Глава 2. Барвалó (Богатый)

Семь дней прошли как семь вдохов.

Дни утекали между пальцами, как вода из разбитого кувшина, и я всё пыталась их задержать, схватить, удержать, а они утекали. Утром варила кашу, днём стирала, вечером сидела с бабушкой у огня и молчала. Молчание у нас, Лэутари, это отдельный разговор. В нём больше слов, чем в любой речи. Дрина смотрела на меня поверх пламени, и её выцветшие глаза говорили: держись, чайори. Сгоришь, но держись. А я отвечала глазами: держусь, бабушка. Держусь.

А внутри всё ломалось.

На седьмой день мать принесла из сундука серое шерстяное платье. Простое, мешковатое, старое. Положила мне на кровать и вышла, не сказав ни слова. Кэтэри научилась молчать, как учатся дышать под водой, медленно и через боль. Платье пахло кедром и маминой любовью, той самой, которую не говорят словами, а зашивают в подолы и воротники.

Переделась. Заплела одну косу, тугую, до пояса. Обула мамины ботинки, на два размера больше, тёплые от её ступней. Посмотрела в маленькое зеркало над умывальником.

Серая. Бледная. Простая.

Так надо, чайори. Если тебя покупают, смотри покупателю в глаза без упаковки. Без бантика. Без краски. Пусть видит, что берёт. Пусть потом не говорит, что его обманули.

Глаза в зеркале были зелёные. Зелёные, как болото в августе. Зелёные, как горлышко разбитой бутылки. Зелёные, потому что я не лгала ни себе, ни зеркалу. Лгать ещё не было кому.

Скоро будет.

Во дворе залаяла собака. Один раз. Коротко. Тревожно. Так лают собаки, когда на территорию заходит не человек, а что-то большее, чему они не знают имени и потому боятся.

Машина остановилась у ворот.

Чёрный «Майбах».

Такая машина у нас на дворе выглядела, как чёрный лебедь на курятнике. Гладкая, тяжёлая, неуместно прекрасная, с тонированными стёклами, которые глотали свет, а не отражали его. Рядом с ней наш забор стал ниже. Сарай приземистее. Ива Йоноши, и та будто отступила на шаг, хотя никуда не отступала.

Вот в чём был секрет, чайори. Он менял пространство вокруг себя. Ещё не вышел из машины, а мир уже подстраивался.

Водитель открыл заднюю дверь. Бритый, квадратный, с лицом чистого листа, на котором когда то написали всё, а потом стёрли начисто. У таких людей один приказ в голове: защищать того, кто платит. Больше в них ничего не помещается.

И он вышел.

Сулейман Ловари.

Высокий. Сухой. Жилистый, с телом, которое создала не спортивная дисциплина, а жизнь, много жизни, много дорог, много смертей. Волосы серебряные, до плеч, распущенные, и в ноябрьском солнце они казались не седыми, а платиновыми, как будто этот человек никогда не был молодым. Лицо скуластое, тёмное, с глубокими складками у рта. В молодости оно было красивым, а к пятидесяти стало опасным. Так становятся опасными старые клинки: рукоять потёрлась, лезвие тоньше, но режет уже не мясо, а время.

Глаза волчьи. Чёрные, с желтоватым проблеском на дне, как у зверя, который лежит у костра и позволяет людям думать, что он приручен.

Одет был так, как одеваются мужчины, для которых деньги перестали быть числом и стали воздухом. Костюм голубой, цвета зимнего неба, с тяжёлой золотой вышивкой по вороту и манжетам. Не вульгарно, чайори. Тонко. С той цыганской роскошью, которая не кричит, а мурлычет, как сытая кошка. Три золотые цепи на шее, разной толщины, разнойковки, старые. И ни одного кольца на пальцах. Странно. Позже узнаю, почему.

Шёл к крыльцу медленно. Ступал осторожно, словно пробыл наш двор на прочность. Так ходят хозяева по только что купленной земле.

Отец встретил его на крыльце. Поклонился, и от этого поклона у меня в горле встал ком размером с кулак. Лачо Лэу-

тари не кланялся никому. Ни попам, ни офицерам, ни банкирам. А этому поклонился. Неглубоко, чайори. На полграда. Но поклонился.

Барвалó (богатый), сказал отец. *Добро пожаловать в наш дом.*

Састо явэс (будь здоров), Лачо. Где твоя дочь?

Мать вывела меня за руку.

И тогда запах вошёл в дом.

Сандал. Плотный, тёмный, сандаловый аромат, который не продают в магазинах, потому что такой сандал растёт только в одном месте на земле, где о нём знают и где его режут вручную. Под сандалом трубочный табак, сладкий, с вишнёвой нотой. Ещё ниже, под табаком, старая кожа, выделанная, дорогая, скрипучая. А под всем этим, на самом дне, горячий, плотный, звериный запах мужского тела. От этого последнего слоя у меня инстинктивно поджались пальцы на ногах в маминых ботинках. Не от желания, чайори. От тревоги. Тело знает раньше разума. Тело у меня сказала: осторожно. Этот человек умеет брать.

Подняла на него глаза.

И он вздрогнул.

Барон, который, по слухам, торговался с *бэнг (дьяволом)* и остался в прибыли, вздрогнул. От моей зелени. Короткое, почти незаметное движение век, но я поймала. Мы, Лэутари, ловим такие вещи. Вздрог мужчины это первое, что ты должна замечать, чайори. В нём вся правда о том, как он бу-

дет с тобой потом.

Якхá зелéно (зелёные глаза), произнёс он тихо. Дрина не солгала. Кровь лоховлицы.

Шагнул ближе. Один шаг. И взял меня за подбородок.

Двумя пальцами, большим и указательным. Так берут птицу, чайори, крепко, но не ломая. Кожа его оказалась горячеей и шершавой, как нагретый солнцем камень. От этого первого прикосновения мурашки прошли вниз по челюсти, по шее, по ключицам и вспыхнули в ямке между ними, как спичка, брошенная в сухую солому. Внизу живота что то сжалось, холодное и острое, будто кто то провёл изнутри ледяным пальцем.

Это была не страсть, чайори. И не желание. Это было узнавание опасности. Тело всегда узнаёт хищника раньше глаз. Вот и моё узнало.

Он повернул моё лицо к свету из окна. Влево. Вправо. Смотрел долго, медленно, профессионально, как смотрят на лошадь перед покупкой: ровные ли ноги, чистые ли зубы, гладкая ли шкура. В его чёрных с жёлтым глазах не было похоти. Было хуже. Было удовлетворение покупателя, нашедшего редкую вещь по хорошей цене.

Отпустил.

Отступил на шаг, скрестил руки на груди, и на смуглой коже руки блеснул старый шрам, тонкий, белый, от запястья почти до локтя. Шрам был красивый, чайори. У некоторых мужчин шрамы красивее любых украшений.

Условия, сказал он, обращаясь к отцу, но глядя на меня. Долги ваши я закрываю. Все. До последнего форинта. Ферма останется за Лэутари, земля, ива, запруда. Новое стадо привезу через месяц, вороных водяных, тех самых, с Карпат. Цирк продолжит работать, я вложусь в шатёр и в вурдонá (фургоны), потому что ваш цирк это живое золото, хоть вы и не умеете его считать. Пэтиша получит скрипку Страдивари, я уже списался с аукционом. Тамáш будет моим управляющим, хочет ли он этого сейчас или нет, научу. Родителям до конца дней пенсию, по тысяче евро в месяц, каждому. Бабушке новый фургон, какой захочет. Ваки Ловари (слово Ловари), отец мой. Слышишь меня?

Отец слышал. Кивал медленно, как кивает человек, стоящий под ножом и пытающийся не дрогнуть лишний раз.

Ваки Ловари, чайори, это больше любого контракта. Ловари не нарушают слова. Никогда. Такие у них традиции, такой у них кодекс. Если сказал, сделал. Страшно это или хорошо, решать тебе. Я в тот момент не знала. Тогда мне показалось: вот человек, на чьё слово можно опереться, как на каменную стену. Потом, позже, поняла другое. На каменную стену можно опереться. Но от неё можно и расшибиться.

*Взамен?*спросил отец, и голос его охрип.

Сулейман посмотрел на меня. Долго. В его волчьих глазах плавилось что то, чему я не знала имени. Позже узнаю. Позже пойму. Это была не любовь, чайори. И не страсть даже. Это была привычка владеть. Пятьдесят три года привычки

получать всё, на что положил глаз.

Взамен она, сказал. Через три месяца. Бьяв (свадьба) по закону ромá. Через неделю переедет в мой кхэр (дом). Привыкнет. Осмотрится. Познакомится с семьёй.

И добавил, чайори, этим своим ровным, негромким голо-
сом, от которого каменел воздух:

*У меня есть сын, Патрина. Миро. Живёт со мной. Будешь его видеть каждый день. Но запомни, что я тебе сейчас ска-
жу. Миро не для тебя. Ту мири ромни (ты моя жена). Толь-
ко моя. Я понятно говорю?*

Кивнула. Не нашла слов.

Внутри меня что то уже шевельнулось, чайори. Малень-
кое, незаметное, тёплое. Как будто в груди под рёбрами кто
то чиркнул спичкой, и огонёк вздрогнул и устоял. Тогда я
ещё не понимала, что это. Тогда я подумала, это страх. Или
гордость. Или просто воздух, которым я вдохнула слишком
резко.

Теперь знаю. Это был он.

Миро. Сын, которого я ещё не видела. Имя, произнесён-
ное всего один раз, низким голосом его отца, вошло в меня
и не вышло. Осталось там, в груди, под рёбрами, как заноза.
Осталось и начало тлеть.

Сулейман подал руку отцу. Пожали. Мужское рукопожа-
тие, от которого у отца побелели костяшки, а у Сулеймана
даже не дрогнуло лицо. Повернулся ко мне.

Через неделю, Патрина. Готовься.

Не попрощался. Ушёл.

«Майбах» мягко выкатился за ворота, и собака снова залаяла, теперь вслед, будто провожала нечистого духа. Пыль осела на гравии. Запах сандала остался. Вьелся в стены, в шторы, в наши волосы. Не выветривался ещё три дня.

А на моём подбородке горело.

Чайори, ты когда нибудь ощущала, как чужая рука оставляет метку на коже, которую видно только тебе? Никто другой её не видит. Ни мать, ни отец, ни зеркало. А ты видишь. И чувствуешь. Вот так я ходила весь тот день, с ожогом на подбородке, трогая его пальцами и проверяя, там ли он ещё. Он был там. Вечером. Ночью. На следующее утро.

И не только. Когда я мыла посуду, в горячей воде, я вдруг почувствовала мурашки в ямке между ключицами. Ту самую ямку, на которую упал его взгляд, когда он держал моё лицо. И в ямке этой стало горячо, будто туда кто то медленно капнул воском.

Воском, чайори.

Сулейман пах сандалом. Не воском. Не сейчас, не позже.

Но ямка моя, ямка между ключицами, уже ждала. Её уже размечали для кого то другого. Для пальцев, которые пришли в этот дом через неделю за мной и которые пахли совсем иначе.

Дрина нашла меня вечером во дворе. Стояла у ивы Йоноши, обняв ствол обеими руками, прижавшись к нему щекой. От коры пахло землёй, снегом, корой, и я дышала этим за-

пахом, чтобы вытеснить из ноздрей сандал.

Бабушка подошла сзади. Положила сухую ладонь мне на лопатку.

Камáv тут (люблю тебя), чайори, сказала. Но я должна сказать тебе одну вещь, пока не поздно. Слушай меня очень внимательно.

Повернулась к ней.

Слушаю, бабушка.

Сулейман Ловари опасный человек. Очень опасный. Но самое опасное в нём не то, что ты думаешь, и не то, что думает твой отец. Самое опасное в Сулеймане, это то, что он умеет любить. По своему, криво, страшно, но умеет. А человек, который умеет любить, когда хочет владеть, становится чудовищем. Запомни. И готовься.

Как готовиться, бабушка?

Она посмотрела на меня. Выцветшие глаза её в сумерках казались серебряными, как волосы Сулеймана.

Готовь сердце, чайори. Запри его на семь замков. Ключи отдай мне. Я сохраню. А потом, когда всё закончится, верну.

Закончится чем?

Дрина не ответила. Ушла в дом, маленькая, скрюченная, спина сгорбленная под невидимой ношей. А я осталась у ивы. Ствол был шершавый и тёплый, как живой.

Ива считала души тех, кто родился и умер на этой земле. Так говорила Дрина. А теперь, чайори, скажу тебе: в тот ве-

чер я впервые услышала, как ива считает. Это был тихий, почти неслышный треск в коре, как щёлканье старых счётов. Раз, два, три. Считала. И я точно знала, кого именно. Меня. Только меня. Моё имя уже попало в её счёт.

Это значило одно.

Я уже не жила. Я уже была частью того, что будет.

Ночью пришла Дрина без стука. Присела на край кровати. Достала из кармана передника *дикхлэи* бросила на моё одеяло. Монеты легли. Три рубашкой вниз, как и в первый раз. Четвёртая встала на ребро и покатилась, и остановилась у самой моей ладони, упёршись в неё, как упираются животные в руку хозяина, прося ласки.

Дрина втянула воздух сквозь зубы.

Что, бабушка?

Огонь уже рядом, чайори. Не семь дней. Восемь. На восьмой день ты встретишь того, от кого загорись. Запах узнаешь. Воск. И пот коня.

Забрала монеты. Ушла.

А я лежала в темноте и считала. Семь дней до свадьбы с Сулейманом. Восемь дней до огня. Значит, чайори, огонь встретит меня уже в его доме.

Под одной крышей со свадьбой.

Закрыла глаза. На внутренней стороне век плыли два лица. Первое уже знакомое: серебряные волосы, волчьи глаза, шрам на руке. Второе, тёмное, ещё без черт, только контур, только силуэт, только тень, которая двигалась в сторону мо-

ей кровати. Второе лицо пахло.

Воском. И лошадиным пóтом.

Утром встала рано. Вышла во двор. Над Тисой поднимался туман, и в тумане двигались силуэты буйволов. Живых. Я знала, что это обман. Знала, что их нет. Но они двигались, медленно, тяжело, величественно, и в голове Нанó над его чёрным лбом светилась пара оранжевых точек, как угольки.

Нанó повернул ко мне голову. Посмотрел.

А потом растворился в тумане.

Тогда, чайори, я поняла. Джипсилэнд прощался со мной. Земля, ива, запруда, туман над рекой, они отпускали меня раньше, чем увёз Сулейман. Отпускали, потому что знали: ту, кем я сюда вернусь, они уже не узнают.

Вернулась ли. Это был другой вопрос.

Сгоришь, чайори, сказала бабушка. *Вопрос, с кем.*

Теперь я почти знала ответ.

Оставалось восемь дней.

Чайори, не уходи. Дальше будут семь дней сборов, и мама наплачется над моими вещами, и Пэтиша сыграет мне на скрипке прощальную дра́бу, от которой лопнет что-то в груди. Дальше будет «Майбах», и белый особняк за коваными воротами, и каменный конь на дыбах в фонтане, по бокам которого течёт вода, как слёзы, и я буду стоять возле этого коня на восьмой день своего нового плена.

А из тени выйдет мужчина, и у меня остановится сердце.

Держись, чайори. Впереди огонь.



«Ты (не) мой Сулейман»

Глава 3. Кхэр парно́ (Белый дом)

Семь дней утекли, как семь капель мёда с ложки. Медленно, тягуче, а потом раз, и ничего не осталось.

Мать собирала мои вещи. Молча. Как молча делают всё женщины Лэутари, когда провожают дочь, зная, что провожают не в гости. Кэтэри раскладывала платья на кровати, складывала вчетверо, перекладывала сухими веточками лаванды и розмарина. Лаванда для сна. Розмарин для памяти. Между слоями ткани совала записки, маленькие, свёрнутые в трубочку. Я разверну их потом, по одной, в чужих стенах, и каждая будет мне пощёчиной и объятием одновременно. На одной, помню, было написано её неровным почерком: *мясо солить за час до жарки, ты всегда забываешь*. На другой: *если ночью холодно, заверни ступни в шерсть*. На третьей просто: *дыши, чайори. Дыши*.

Мамины записки я сохранила до сих пор. Все до одной.

Отец уходил в сарай чинить то, что не нуждалось в починке. Колесо фургона он перебрал трижды. Подкову перековал четыре раза. Я заходила к нему с ужином, ставила миску рядом и не садилась. Он не смотрел в мою сторону. Если бы посмотрел, сломался бы. А Лачо Лэутари, чайори, ломаться не умел. Умел только гнуться до той точки, за которой человек уже не гнётся, а просто замирает внутри на всю жизнь.

Пэтша играл. Целыми днями. Скрипка его не замолкала

ни на час, и мелодии были такие, что у меня из груди вынимало воздух, а воздух не возвращался. Он играл про запруду, пока она ещё была полна. Про Нанó, когда тот был молодым. Про меня маленькую, сидящую на плечах отца. Играл про то, чего больше не будет, играл так, будто прощался с частью своего собственного сердца. Он и прощался, чайори. Пэтша любил меня так, как умеют любить только младшие братья, безусловно, безостаточно, до костей.

В последний вечер я пришла к нему в сеновал, где он всегда репетировал. Мы сидели на сене, плечо к плечу, и он держал скрипку на коленях, и кровь у него на указательном пальце была свежая, и он её не стирал.

Сыграй мне что нибудь весёлое, Пэтша. Пожалуйста. На дорогу.

Он посмотрел на меня долго. Семнадцатилетний, худой, острый, красивый как нож. Глаза мамыны, скулы папины, упрямый рот бабушкин. Весь наш род у него в лице.

Патрина. Если будет плохо. Если он будет тебя обижать. Ты только скажи. Мы приедем. Все. Тамáш, папа, дядя Джанго, кузены. Мы Сулеймана с земли сотрём, мне плевать, кто он. Ты слышишь меня?

Слышу, Пэтша.

Поклянись.

Клянусь.

Он поднял смычок. И сыграл не весёлое. Сыграл самую грустную мелодию, которую я когда либо слышала в его ис-

полнении. Играл и плакал, и слёзы падали на деку скрипки и смешивались с его кровью, и дерево становилось липким, тёмным, влажным. А я сидела рядом и не плакала, потому что если бы заплакала, мы оба не выжили бы в ту ночь.

На восьмой день с утра пришёл «Майбах».

Не сам Сулейман, чайори. Только водитель, тот квадратный, с лицом чистого листа. Протянул конверт отцу. Молча. В конверте было восемьсот тысяч евро наличными. Отец не считал. Просто смотрел на пачки, как смотрят на оружие, которое приставили к виску.

Баро передаёт, что остальное переведёт на счёт после приезда дочери, сказал водитель. Голос был ровный, без эмоций, как у автоответчика. *Мои инструкции сопроводить дочь в резиденцию. Готовы?*

Отец кивнул. Не глядя на меня.

Я обняла мать. Кэтэри прижала меня к себе так крепко, что заболели рёбра, и шептала мне в волосы одно и то же: *тэ явэс бахталі́ (будь счастлива), тэ явэс бахталі́, тэ явэс.* Как заклинание. Как попытка оттолкнуть от меня беду силой самого слова.

Дрина стояла отдельно. Не обняла. Подошла, взяла мои руки в свои, повернула ладонями вверх и положила на каждую по серебряной монетке. Старой, стёртой, с дыркой посередине.

Не теряй. Положи одну в туфлю. Одну в рот, когда будет страшно. Они тебя сохраняют.

А зашьёшь мне ещё одну в подол?

Дрина улыбнулась. В первый раз за неделю.

Уже зашила, чайори. Не нашла бы ты её и за год.

Обняла меня быстро, крепко, по старчески, и оттолкнула.

Так делают, когда больше нельзя держать, а отпускать рука отказывается.

Чемодан поставили в багажник. Маленький, потёртый, с наклейками цирковых гастролей из разных городов: Будапешт, Сараево, Нови Сад. Внутри три платья, старый молитвенник прадеда, мамина шаль, две бабушкины монеты про запас, и на самом дне, завёрнутое в шёлк, моё зеркальное платье. То самое, для номера. Я положила его, чайори, не зная зачем. Взяла по какому то глухому внутреннему зову. Потом поняла. Зеркальное платье тянулось к своему свету, как компас тянется к северу. А свет его ждал меня там, куда я ехала.

«Майбах» выкатился со двора. Собака залаяла вслед. Пэтша стоял у ворот со скрипкой, и смычок его был опущен, и сам он больше не походил на нож. Он походил на надломленную ветку.

Водитель за рулём молчал все сорок километров. Я тоже молчала. Смотрела в окно, как уходит Джипсилэнд, как уходит Тиса, как уходят зимние поля, как уходит моя прежняя жизнь, и считала. Повороты. Мосты. Заправки. Тридцать семь минут ехать, если без пробок. Четырнадцать поворотов. Два моста. Одна заправка. Я выучила дорогу сразу, с

первого раза. На всякий случай.

А если вдруг понадобится бежать.

Поместье Ловари показалось за холмом, и у меня остановилось дыхание.

Чайори, попробую описать, что делает с человеком, выросшим в тесноте и запахе навоза, первая встреча с настоящей роскошью. Не журнальной, не телевизионной, не киношной, а живой, стоящей перед тобой из белого камня и чугуна, и говорящей: я реальнее, чем ты.

Белый двухэтажный особняк за коваными воротами, с золотыми остриями на каждом пруте ограды. Столетние платаны по обеим сторонам гравийной дороги, их стволы в два моих объёма, кроны уже оголённые ноябрём, но величественные. Фонтан в центре круглой площадки перед крыльцом. Каменный конь на дыбах, в три человеческих роста, с раздутыми ноздрями и развевающейся гривой, и вода стекала по его бокам тонкими струями, как будто конь потел под невидимой ношей. Конюшня слева, длинное строение светлого дерева с красной черепицей. Гараж справа, закрытый, большой, в нём, я догадывалась, стояло больше машин, чем у нас в Джипсилэнде было фургонов.

За домом угадывалась роща, подстриженные кусты, белые беседки. Где то там, я знала по разговорам, был даже бассейн. Бассейн, чайори, у цыганского барона. Бабушка Дрина плюнула бы трижды и перекрестилась дважды.

Ворота открылись сами, бесшумно. Гравий зашуршал под

колёсами. «Майбах» остановился у крыльца, и я вышла, и мамины ботинки на белом мраморе выглядели так нелепо, что я едва не рассмеялась. Пятнадцать ступеней вверх. Двойная дверь из тёмного дуба с золотыми ручками в форме львиных голов. Дверь открылась.

На пороге стояла женщина.

Высокая. Костистая. С лицом как топор, заточенным до лезвия временем и чем то ещё, что я тогда не смогла распознать. Красивая, чайори. По своему красивая, тем особенным, сухим, выжженным способом, которым бывают красивые женщины, очень давно переставшие ждать от жизни подарков. Лет сорок пять или сорок семь, я не умела определить точнее. Одета в простое чёрное платье дорогого покроя, волосы тёмные с проседью, стянуты в тугой узел на затылке, ни одного украшения на руках, в ушах крошечные золотые гвоздики.

Пхэн (сестра), сказала она. Я Земфира. Меня попросили встретить тебя. Идём.

Голос её был ровный, без тепла и без холода. Профессиональный. Так говорят те, кто служит большим людям и привык не иметь своих интонаций.

Она оглядела меня сверху вниз. Мамины ботинки. Серое платье. Чемодан с облупившимися наклейками. На секунду в её глазах мелькнуло что то, чайори. Клянусь, мелькнуло. Не жалость. Узнавание. Как будто она видела меня когда то, в другой девушке, в другом времени, в другой серой шер-

сти и других чужих ботинках. Потом это что то задвинули обратно, как задвигают ящик со старыми фотографиями, и глаза Земфиры снова стали пусты и деловиты.

Баро в отъезде. Вернётся к вечеру. Твоя комната на втором этаже. Идём, покажу дом.

Подняла мой чемодан сама, раньше, чем я успела возразить. Пошла в глубину дома. Я следовала за ней, и каждый шаг по мраморному полу отдавался глухо, как удар в барабан, затянутый тканью.

Чайори. Дом этот был музеем.

Мраморные полы в коридорах, тёплый кремовый цвет с прожилками, отполированные до блеска, в них отражались люстры, и от этого отражения плыли по полу вторые, перевернутые люстры, как в воде. Персидские ковры в гостиных, толстые, глубокие, нога тонула в них по щиколотку. Картины на стенах, настоящие, в тяжёлых золочёных рамах: степи, табуны вороных лошадей, женщины с тёмными глазами и золотыми монетами в волосах, костры, шатры, всё цыганское, всё своё, но написанное большими мастерами, дорого, любовно, бережно. Мебель из тёмного дуба и тёмной кожи, массивная, живущая в этом доме не одно поколение. Хрустальные люстры в каждой комнате. Свежие цветы в высоких вазах, белые пионы и кремовые розы, с запахом, который перебивал даже запах старого дерева.

И всюду, чайори, повсюду, на каждой детали, золото.

Золотые дверные ручки. Золотые рамы зеркал. Золотые

канделябры. Золотые нити в узорах ковров. Золотые монеты, вставленные в дверцы серванта. Золотые львиные головы на ножках стульев. Даже выключатели, клянусь, были в золотых накладках.

Сулейман жил внутри собственного сокровища.

И строил точно такое же для меня.

Главный зал, сказала Земфира ровно, проходя. Зал для приёмов. Малая гостиная. Большая столовая. Зимний сад. Кабинет баро, туда без разрешения не входи никогда. Кабинет Миро, сейчас заперт. Твоя комната.

Остановилась перед дверью из белого дерева. Открыла.

Комната оказалась неожиданно простой после всей этой золочёной тяжести. Белые стены. Белая кровать под балдахин из кремового газа. Белый шкаф. Туалетный столик со стулом, обитым бледно зелёным шёлком. Большое окно в сад, с лёгкими белыми занавесками. В углу белое кресло. На полу ковёр, кремовый, толстый, мягкий. Вазы с пионами на каждой поверхности.

Тут твои вещи принесут чуть позже. Ванная вон та дверь. В шкафу одежда, баро распорядился. Размер твой спросил у Дрины по телефону. Если что то не подойдёт, скажи, переделают.

Она говорила, двигаясь по комнате, касаясь то занавески, то столика, то ручки шкафа, проверяя. Обернулась ко мне.

Обед в два. Ужин в восемь. Столовая на первом этаже, проведу в первый раз. Не опаздывай. Баро не любит ждать.

Это единственное, чего он не выносит. Всё остальное терпит.

Кивнула.

Земфира помедлила у двери. Будто хотела сказать ещё что то и не решалась. Потом всё же сказала. Тихо, не оборачиваясь, почти в дверной косяк:

Пхэн. Дам тебе совет. Один. Большие не буду.

Говорите.

Тут, в этом доме, есть правила. Их никто не пишет, но их знают все. Правило первое: ты принадлежишь баро. С того момента, как вошла в ворота. Правило второе: что бы ты ни делала, он узнает. Здесь у стен есть уши, у полов есть глаза, и они все ему служат. Правило третье.

Замолчала.

Какое?

Она обернулась. В её глазах, серых, усталых, сухих, что то дрогнуло.

Его сын Миро тебе не друг. Не брат. И не спасение. Что бы ты о нём ни подумала, когда увидишь. Держись от него на расстоянии вытянутой руки. Лучшие на двух. Если хочешь, чтобы все твои в Джипсилэнде остались живы.

Ушла. Закрыла за собой дверь мягко, без щелчка.

Я стояла посреди белой комнаты и не двигалась.

Чайори, в этом предупреждении была такая сила, что колени мои ослабли, и я села на край кровати. Села и заплакала. Первый раз за две недели. Плакала тихо, без всхлипов,

слёзы текли сами, и я их не вытирала. Плакала не от страха, а оттого, что Земфира угадала. Угадала ещё до того, как я его увидела. Знала что то такое, чего я не знала сама, но что уже поднималось во мне, как вода в весеннем колодце, тихое, неизбежное, тёмное.

Имя Миро, произнесённое низким голосом его отца семь дней назад, всё ещё лежало у меня в груди под рёбрами. Не тлело, нет. Спало. Свернулось калачиком и ждало.

Встала. Подошла к окну. Раздвинула занавески.

Сад. Ноябрь. Мокрые платаны, голые розовые кусты, до-
рожки из мраморной крошки. Каменный конь в фонтане, с
его боков течёт вода. И за фонтаном, в глубине сада, возле
деревянной белой беседки, увитой голыми плетями глици-
нии, я увидела движение.

Кто то стоял там. Мужчина.

Спиной ко мне. Высокий. Широкоплечий. В чёрных
джинсах и белой рубашке без куртки, хотя ноябрь, хотя сы-
ро. Тёмные волосы, коротко стриженные, на голой шее. Он
стоял неподвижно, опершись руками о перила беседки, скло-
нив голову, и смотрел куда то в сторону реки, хотя реки от-
сюда не было видно.

Я стояла у окна и смотрела на него. Не знаю, сколько ми-
нут.

В груди под рёбрами тот калачик, тот свёрнутый комо-
чек, начал разворачиваться. Медленно. С коротким горячим
треском, как разворачивается фитиль.

И в это мгновение, чайори, как будто он услышал меня спиной, как будто почувствовал мой взгляд сквозь ноябрьский воздух и двойное стекло окна и сто метров сада, мужчина медленно поднял голову. И начал поворачиваться.

Я отступила от окна на шаг. На два. Быстро. Почти испуганно. Уронила занавеску.

Сердце билось так, что его было слышно на мраморном полу.

Стояла посреди белой комнаты, прижав ладонь к груди, и смеялась над собой беззвучно. Нервным, задушенным смехом. Испугалась, чайори. От одного затылка. От одной линии плеч. От одного наклона головы. Ещё ничего не произошло, ещё я не видела лица, ещё он не сказал ни слова, а я уже отшатнулась от окна, как отшатываются от края крыши.

Потому что тело знает раньше разума. Тело у меня сказала: вот он.

Сулейман предупреждал. *Миро не для тебя. Запомни.*

Земфира предупреждала. *Держись от него на расстоянии двух вытянутых рук.*

Дрина предупреждала. *Воск. И лошадиный пот. Сгоришь, чайори. Вопрос, с кем.*

Я обняла себя руками. Холодно мне стало, и холод шёл изнутри, не снаружи. Посмотрела на свою руку. Выше локтя, на коже, вставали мелкие мурашки. Много. Гусиная кожа поднимала крохотные волоски и сажала их солдатиками.

Подошла к кровати. Села. Снова подошла к окну. Снова

отошла. Мерила комнату, как зверь, первый раз посаженный в клетку. Восемь шагов от двери до окна. Семь от окна до кровати. Шесть от кровати до шкафа.

За окном, я знала, его уже не было. Я не стала проверять. Не смогла заставить себя снова подойти к стеклу.

Села на белый ковёр у кровати, прижалась спиной к перине, подтянула колени к груди. В моих маминых ботинках на этом пушистом белом ковре я выглядела как серая галка, которую кошка затащила в чужое гнездо.

Достала из кармана маленькую монетку, бабушкину. Положила на язык. Холодный металлический вкус, и чуть медный, и чуть сладкий. Сосала её, как конфету.

Бабушка говорила: *в рот, когда страшно, она тебя сохранит.*

Страшно мне, бабушка. Я тебе правду скажу. Страшно.

И не от Сулеймана страшно, чайори. Не от его запаха сандала и жёлтых вкраплений в чёрных глазах. Не от золотых ручек и львиных голов.

Страшно от затылка мужчины в белой рубашке, стоявшего у беседки.

Страшно от того, что я от одного его затылка отшатнулась от окна.

Восемь дней прошло с того вечера, когда Дрина бросила монеты под ивой.

Огонь уже был в доме.

Я это знала. Весь мой род это знал. Ива Йоноши в сорока

километрах отсюда считала мою душу своими счётами. Раз, два, три. И ночью, я знала, она собьётся со счёта. Обязательно собьётся. Потому что я больше не та Патрина Лэутари, которая ушла из своего дома сегодня утром.

Я теперь Патрина, увидевшая чужой затылок через двойное стекло и отшатнувшаяся.

Это, чайори, уже другая женщина.

Встала. Пошла в ванную умыться холодной водой. Посмотрела на себя в зеркало над раковиной, мраморной, тёплой на ощупь от подогрева пола. Глаза были тёмные. Не чёрные, нет. Между чёрным и зелёным. Мутные, какими они становятся, когда правда одна, а чувство говорит о другой.

Впервые в жизни, чайори, я не могла прочесть собственный цвет.

Не уходи, моя хорошая. Дальше наступит вечер, и Сулейман вернётся, и в большой столовой будут два прибора, и между нами шесть пустых стульев, и белые свечи. Дальше я пойду в сад одна, на закате, потому что не смогу сидеть в белой комнате. Я пойду к фонтану, чтобы ещё раз увидеть каменного коня и пощупать воду на его боках.

И из тени глициниевой беседки выйдет мужчина.

И скажет мне два слова на романи.

И я буду помнить эти два слова всю оставшуюся жизнь.

Глава 4. Якхá зелéно (Зелёные глаза)



Ужин прошёл в пустой столовой. Сулейман так и не приехал, задержался в Будапеште, передал через Земфиру, что будет к полуночи. Передо мной поставили супницу с прозрачным бульоном, в котором плавали золотые звёздочки пасты, и я ела медленно, каждую ложку, потому что когда глотаешь медленно, не так слышно стук собственного сердца.

За окном стемнело рано. Ноябрьская тьма, густая, ранняя, ноябрьская.

После ужина Земфира предложила проводить меня в комнату. Покачала головой, сказала, что хочу ещё подышать. Она посмотрела на меня долго, как смотрят на ребёнка, которому уже сказали не подходить к плите, но он всё равно подойдёт. Молча отошла в сторону.

Набросила на плечи мамину шаль, тёплую, тёмно зелёную, пахнущую домом. Вышла через боковую стеклянную дверь в сад.

Холодно было, чайори. Ноябрь кусал за щиколотки, пробирался под платье, и я шла по гравийной дорожке, обняв себя руками, как обнимают чужого ребёнка, осторожно, чтобы не разбудить. Дорожка вела мимо подстриженных кустов к фонтану. Каменный конь был уже виден в полумраке, его белый бок светился, как светятся кости в темноте. Вода бежала по нему, и звук был живой, монотонный, успокаивающий, и я пошла к нему как к другу.

Встала возле каменного коня. Протянула руку. Провела

по его тёплому от подогрева боку, по шее, по гриве. Камень был шершавый и влажный, и вода стекала по моим пальцам и капала с ладони в чашу фонтана. Закрыла глаза. Попробовала вспомнить Джипсилэнд. Запах сена, карамельной ваты, дыма из кузни, горячей шерсти буйволов, мокрого дерева ивы. Запахи не шли. Их перебивал сандал, который, казалось, въелся в мою собственную кожу после этого первого дня.

Тогда, чайори, из тени глициниевой беседки я услышала его голос.

Ту кóди (ты та самая)?

Открыла глаза.

Он стоял в трёх шагах. Стоял тихо, будто пришёл не по гравию, а по воздуху. Белая рубашка в сумерках казалась голубоватой, руки в карманах чёрных джинсов, голова чуть наклонена набок. Смотрел на меня в упор. Не моргая. Так смотрят волки, когда ещё не решили: съесть или пустить.

И мир, чайори, перевернулся. Не качнулся. Перевернулся. Как переворачивается лодка, когда волна бьёт снизу: мгновенно, тотально, без предупреждения, и ты уже под водой, и небо там, где было дно, и дно там, где было небо, и ты не знаешь, куда плыть.

Тёмные волосы, коротко стриженные, не как у отца. Каждый сантиметр стрижки был бунтом, был отказом быть копией, был объявлением войны. Скулы, резанные из камня, в сумерках отбрасывали глубокие тени. Линия челюсти, от

которой у меня перехватило дыхание, будто кто то ударил меня снизу в солнечное сплетение. Губы.

Чайори. Позволь остановиться на губах. Позволь быть честной. У него были губы, при виде которых в голове остаётся одна мысль, и мысль не имеет ничего общего ни с приличием, ни с осторожностью, ни с тем фактом, что я стою в саду его отца и через три месяца стану его мачехой.

Глаза. Глаза его были тоже тёмные, почти чёрные, но горели иначе, чем у Сулеймана. У отца глаза были волчьи, холодные, хищные, усталые от долгого владения миром. У Мило глаза горели, как горит костёр, разведённый от ярости. Яростно. Жадно. Весело. Опасно. Огонь, которому наплевать на границы, правила и последствия.

Одет был в чёрные джинсы. Белую рубашку. Рукава закатаны до локтей. Ни золота на нём. Ни цепей. Ни единой ноты отцовской роскоши. Даже часов не было. На ноге, на бронзового цвета коже ступни (босой, чайори, в ноябре, босой на холодном саду), я заметила тонкую кожаную нитку с бирюзовой бусиной на щиколотке. Всё на нём кричало одно: я не он. Я никогда не буду он.

Узнала в нём себя. Свои мамины ботинки на смотринах. Свой отказ наряжаться. Два человека под одной крышей, отказавшиеся носить оболочку.

*Та самая, какая?*спросила я.

Голос мой был ровным. Чудо. Потому что внутри меня плавился металл. Горячий, жидкий, обжигающий, разлился

от горла до самого низа живота, как глоток крепкого спирта натошак, как первый жар болезни, как предчувствие чего то, для чего на романи есть слово, и я не хотела его произносить.

Миро шагнул ближе. Один шаг. Два.

Четвёртая сулакүни (невеста) моего отца, сказал. В слове *отца*да хватило бы, чтобы отравить ещё одну запруду. *Новая. Купленная.*

Я не куплена.

Соврала. Он знал. Я знала, что он знает. И мои зелёные глаза почувствовала собственной кожей, как они начали темнеть. Зелень уходила, зрачок расширялся, и чернота, густая, болотная, чужая, заливала радужку, как чернила заливают чистый лист.

Миро заметил. Его зрачки расширились тоже. Едва уловимо. Как у кошки, увидевшей в траве движение.

Якхá зелéно (зелёные глаза), произнёс тихо. *Редкие.*

Те же два слова, чайори. Те же два слова, что его отец сказал неделю назад, взяв меня за подбородок. Те же две буквы, те же звуки, тот же романи. Но, чайори мири, слышала бы ты разницу. Когда Сулейман произнёс их, прозвучало: зелёные глаза, хорошая кровь, редкая находка, выгодное вложение. Когда Миро произнёс, прозвучало: стон. Молитва, которую он не собирался произносить вслух. Первая строчка песни, за которую потом убивают.

Он поднял руку. Медленно. Как во сне. Как поднимается рука у того, кто знает: если сейчас коснусь, обратной дороги

нет. И коснулся моей щеки.

Одним пальцем.

От скулы к подбородку. Ту же самую линию, которую чертил его отец семь дней назад на пороге нашего дома. Но если Сулейман держал меня, как держат птицу: крепко, оценивающе, с правом собственника, то Миро коснулся, как касаются чуда. Осторожно. С изумлением. С чем то, похожим на боль. Будто его палец жгло. Будто ему было больно от моей кожи. Будто он всю жизнь об этой коже тосковал и сейчас наконец нашёл, и не знал, что с ней делать.

Его палец пах свечным воском. Рыжеватым, пчелиным, тёплым, тем самым, о котором говорила Дрина. И лошадиным потом. Muskным, горьким, въевшимся в кожу до самой крови.

Тот самый запах. Из первой строчки моей жизни. Из первого сна, из которого я не могла проснуться. Из пророчества бабушки, положенного на мои ладони под ивой Йоноши.

И внутри меня, чайори, что то встало на место. Со щелчком. Как ключ в замке. Как кость в суставе, вставшая после вывиха. Как последнее слово заклинания, после которого обратной дороги нет. Что то, бывшее сломанным с рождения, соединилось. Что то, молчавшее двадцать лет, заговорило. На языке, которому меня никто не учил, но который я поняла сразу, весь, до последнего слова.



Колени мои ослабли. Не поддались, нет. Но предательски сказали мне: хозяйка, если ты сейчас не возьмёшь себя в руки, мы тебя опустим на этот гравий, и ты сядешь у ног этого мужчины, как садится щенок к незнакомым ногам. А руки мои сжались в кулаки и впились в собственные ладони, чтобы удержать себя, чтобы не потянуться навстречу.

Кожа на щеке горела. Одна точка, там, где стоял его палец, и от этой точки жар побежал вниз, по шее, по ключицам, по груди, по рёбрам и свернулся в солнечном сплетении тяжёлым, мучительным, требовательным комком. Под рёбрами, справа и слева, болело, будто лёгкие разучились работать и требовали инструкцию заново.

Камибэн, шепнуло что то внутри меня. *Любовь*.

Дрина предупреждала.

На т́аса ман (не трогай меня), сказала шёпотом.

Шёпот мой прозвучал как просьба, как мольба, как приговор, но не тот, который я хотела вынести. Не потому, чайори, что я не хотела, чтобы он меня трогал. Хотела. Хотела так сильно, что потемнело в глазах, что зелень погасла совсем, что радужка стала чёрной, как запруда, в которой утонули наши буйволы.

Но он видел эту черноту. И не понимал, что это ложь. Он думал, что это желание. И был прав. Потому что в ту минуту ложь и желание стали во мне неразличимы.

Его палец остановился у моего подбородка. Не убрался. Замер. Я чувствовала его подушечку, шершавую, горячую,

каждой клеткой своего лица, и выдыхала короткими, рваными выдохами, и каждый выдох касался его пальца, и его палец дрогнул от моего дыхания.

Наклонился ко мне. Не поцеловать, нет. На это у него хватило разума. Наклонился так, что его висок оказался у моего виска, щека у моей щеки, не касаясь, в миллиметре, и вся эта ноябрьская ночь сгустилась в этом миллиметре воздуха между нами.

Ту пхэнэлá мангэ йекх (ты скажешь мне одно), прошептал он у моего уха. На романи. Голос его был низким, почти шершавым, он не дрожал, но в нём была дрожь внутри, как дрожит поверхность натянутой кожи на барабане. *Одно слово, Патриана. Скажи. Скажи, что не хочешь, и я уйду. Скажи сейчас, и я не вернусь.*

Чайори. Дыхание его было горячим, оно касалось моего уха, спускалось по шее, забиралось под мамину шаль. И я, клянусь, клянусь бабушкиными монетами и ивой Йоноши, я пыталась сказать это слово. Пыталась произнести *уйди*. Пыталась. Открыла рот, и воздух вошёл, но слова не вышли, потому что в глотке у меня встал ком размером с его имя.

Закрыла глаза.

Это была ошибка, чайори. Потому что с закрытыми глазами его присутствие усилилось. Я чувствовала его тело, его тепло, его дыхание, запах воска и пота, и собственную дрожь, и то, как собственная грудная клетка ходит ходуном под шалью, и то, как соски под тонкой тканью платья напряглись от

холода, от жара, от него, от всего сразу. Почувствовала, как собственные бёдра чуть подались вперёд, на полсантиметра, произвольно, без моей команды, и как мои собственные губы приоткрылись навстречу его дыханию. Тело моё, чайори, предавало меня с таким наслаждением, что я едва не заплакала.

Миро втянул воздух. Глубоко. Услышала, как его грудная клетка наполнилась, как он задержал этот воздух у себя внутри, будто пытался удержать в лёгких мой запах.

Ту на пхэнэлá (ты не скажешь), шепнул.

Нет, ответила.

Даже этого *нетя* не смогла произнести громче шёпота.

Он поднял вторую руку. Не коснулся, всё ещё не коснулся, но завис пальцами над моей ключицей, и я чувствовала его ладонь на расстоянии тепла, чувствовала её жар через холодный ноябрьский воздух, и этот жар был сильнее любого прикосновения. Мурашки поднялись у меня под платьем волной. Груды стали тяжёлыми и ныли. Внизу, под рёбрами, в том тугом комке, что свернулся в солнечном сплетении, разошлось тёплое, влажное, сладкое, и у меня подкосились колени по настоящему.

Он увидел. Он всё видел.

Тэ тўт, чайори (тебе, девочка), прошептал он так низко, что я скорее прочла его губами у своего уха, чем услышала. *Тэ тўт тиро чач (тебе твоя правда). Скажи мне. Скажи, чего ты хочешь. Ничего не сделаю без твоего слова.*

Чайори. Никогда в жизни ни один мужчина не спрашивал у меня, чего я хочу.

Сулейман не спрашивал. Мой отец не спрашивал. Тамáш, старший брат, не спрашивал. Мир так устроен для женщины Лэутари: её не спрашивают, её ставят перед решением. Её покупают. Ей говорят: будь такой, иди туда, выходи за того. И от мужчины, в трёх шагах от которого я стояла час назад, совершенно чужого, незнакомого, обещанного мне бабушкиным огнём, вопрос *чего ты хочешь* прозвучал как удар под рёбра. Такой сильный, что я не смогла стоять.

Качнулась вперёд. Лоб мой коснулся его плеча. Через белую рубашку я почувствовала его кожу, горячую, твёрдую, пахнущую собой, и моя собственная рука поднялась и легла ему на грудь. Ладонь моя, маленькая, холодная с ноябрьского воздуха, оказалась на тёплом хлопке его рубашки, и под рубашкой билось его сердце.

Билось, чайори, так быстро, что я замерла.

Не медленно, как бьётся сердце мужчины, у которого всё под контролем. Не ровно, как бьётся сердце мужчины, который владеет ситуацией. Билось оглушительно, бешено, непристойно, как бьётся сердце у того, кто впервые встретил то, что искал всю жизнь. Сердце Миро стучало в мою ладонь, требовательно, как стучит заключённый в стену, прося, чтобы его выпустили.

Мои пальцы непроизвольно раскрылись на его груди, накрыли его сердце, и я услышала, как он коротко застонал.

Тихо. В мои волосы. Почти беззвучно. Мужчины так стонут, когда им больно от чего то хорошего.

Его вторая ладонь всё таки легла на мою шею, сзади, под косой. Большим пальцем он нашёл ту самую ямку между ключицами. Ту, которую Сулейман разметил неделю назад одним взглядом. И провёл по ней подушечкой, медленно, раз, и ещё раз, и ещё. И каждый его круг в этой ямке посылал по моему позвоночнику короткие, горячие электрические разряды, и от каждого разряда я вздрагивала всем телом, всей его длиной, с головы до пят.

Патрина, выдохнул он в мои волосы. *Патрина. Патрина* *мири (моя Патрина)*.

Вцепилась в его рубашку обеими руками. В ткань. В его грудь. Вцепилась так, что костяшки мои побелели, и стояла, прижавшись лбом к его ключице, и дышала через раз, и в ноздрах у меня был воск и лошадиный пот, и под моими ладонями стучало чужое сумасшедшее сердце, и я думала только одно: если он сейчас меня поцелует, я пропала навсегда.

Он это знал.

Знал и не целовал. Держал меня на этом миллиметре, на этом краю, на этой тонкой границе, через которую перешагнуть было нельзя, пока я сама не перешагну. А я не перешагивала. Стояла. Дрожала. Дышала. Прижимала его сердце к своей ладони и не отпускала.

Пятнадцать секунд так стояли. Или пятнадцать минут. Или пятнадцать лет. Не знаю, чайори. Время сломалось.

И тогда, чайори, через сад, через гравий, через ноябрьский воздух, долетел звук.

Ворота. Открываются. Автоматически. С мягким электрическим гулом, который я уже знала: так открывались ворота перед «Майбахом».

Миро замер. Его ладонь, большая, горячая, лежала на моей шее, и я почувствовала, как его пальцы одеревенели.

Сулейман вернулся.

Мы отпрянули друг от друга одновременно, синхронно, будто нас обоих дёрнули за одну верёвку. Я отступила на три шага назад, мои руки сами схватили шаль и туго запахнули её на груди, будто прикрывая то, чего не видно. Миро отступил на два шага, спрятал руки в карманы джинсов, и я увидела, как ходят желваки на его скулах.

Мы стояли по разные стороны от каменного коня. Фонтан журчал между нами, и вода стекала по каменным бокам, как слёзы.

Чёрный «Майбах» уже катил по гравию к крыльцу дома. Фары выхватывали кусты, дорожку, край сада. До нас свет не доставал, мы стояли в тени глицинии.

Миро посмотрел на меня через фонтан.

Смотрел долго. В его глазах горел тот самый костёр, разведённый от ярости, но теперь в нём было ещё что то. Тоска. Голод. Боль взрослого мужчины, у которого только что отняли то, чего он никогда в жизни не просил и что, однажды попробовав, уже не мог не хотеть.

Сказал одно слово. Тихо. Не произнося, а выдыхая:

Мири.

Моя.

И ушёл.

Пошёл в сторону, противоположную дому, в тень беседки, в темноту сада, в неизвестные его пути. Не оглянулся. Не махнул рукой. Просто исчез, как появился, как будто его и не было.

Я осталась у фонтана. Стояла, обняв себя руками, и меня трясло. Мелко, от щиколоток до макушки, как трясёт в лихорадке. Щека моя там, где был его палец, горела. Ямка между ключицами горела. Ладонь, накрывавшая его сердце, горела. Лоб, которым я прижалась к его плечу, горел. Колени горели. Всё моё тело было одним сплошным ожогом, и под шалью, под платьем, в самой последней и самой тайной точке моего тела, тоже горело, горело, горело, и я знала, что если сейчас опущу туда руку, моя собственная влага окажется на моих собственных пальцах, и это будет самое унижительное и самое честное свидетельство того, что только что произошло между мной и мужчиной, которого я увидела впервые в жизни.

Стояла у каменного коня. Дышала. Медленно. Считала вдохи, как когда то в детстве меня учила бабушка считать во время шторма. Один. Два. Три. На десятом вдохе пришла в себя.

Сулейман уже вошёл в дом. Свет на первом этаже вклю-

чили. За занавесками большой гостиной двигался силуэт, я видела его, широкоплечий, тяжёлый, пересекающий комнату к бару.

Прошла к дому через сад. Медленно. На ватных ногах. Вошла через ту же стеклянную боковую дверь. Через коридор поднялась по мраморной лестнице на второй этаж. В свою белую комнату. Закрыла за собой дверь. Прислонилась к ней спиной, съехала по ней на пол, села на ковёр, обхватила колени руками.

Чайори. Я сидела на полу в чужой белой комнате и смеялась. Тихо, хрипло, в свои собственные колени. Смеялась и одновременно плакала. Слёзы текли по щекам, попадали на смеющиеся губы, солёные, горячие, и я слизывала их и продолжала смеяться и плакать одновременно, и моё тело не могло решить, какая из эмоций сильнее.

Потому что, чайори, я поняла одну страшную вещь.

Восемь дней. Бабушка сказала: восемь. Я считала: неделя на сборы и восьмой день приезд в новый дом.

А на восьмой день я встречу *того*.

Всё совпало, чайори. С точностью до часа. До того часа, когда я вышла в сад к каменному коню и услышала сзади тихое *ту кóди*.

Бабушкины гадания никогда не ошибаются.

Подняла голову. Стояло зеркало напротив, высокое, в золотой раме. В нём сидела я, в мятой шерстяной шали, расчёпанная, на белом ковре. Глаза в зеркале были чёрными.

Абсолютно. Без малейшего намёка на зелень. Две бездны на бледном лице.

Чёрные, потому что я уже врала.

Врала себе. Говорила себе: ничего не было. Подумаешь, палец на щеке. Подумаешь, ладонь на его груди. Подумаешь, его сердце под моей рукой. Подумаешь, *мири*в моих волосах. Ничего не случилось. Ничего. Ничего.

А в зеркале на меня смотрела девушка с мёртвыми чёрными глазами, и девушка эта уже горела. Пылала. Вся. С головы до пят. От горла до самого низа живота. От подбородка, на который упал его палец, до бедра, которое потянулось вперёд навстречу его дыханию.

Сгорала, чайори.

Бабушка спрашивала: с кем.

Теперь я знала. Запомнила его имя навсегда, хоть услышала только раз, неделю назад, низким голосом его отца.

Миро.

Повторила вслух. Тихо. В пустую белую комнату.

Миро.

И от одного звука его имени в моём рту, от одного только слога, меня снова прошила дрожь, и у меня закрылись глаза, и я откинула голову назад и прижалась затылком к двери.

Где то в доме, внизу, Сулейман говорил в телефон. Голос его, приглушённый, властный, доходил ко мне через два этажа как дальний гром.

Где то в саду, я знала, Миро тоже шёл куда то один. Может

быть, к лошадям. Может быть, к своему мотоциклу. Может быть, прямо по мокрой земле, босиком, потому что вспомнила: он был босой.

А я сидела на белом ковре в белой комнате белого дома и училась новой жизни.

Жизни, в которой я живу в доме отца, а мечтаю о сыне.

Жизни, в которой утром я буду здороваться с Сулейманом, улыбаться, кивать и носить его золото, а ночью считать шаги до сада.

Жизни, в которой мои глаза будут меняться по сто раз в день, и ни одно моё *дане* будет правдой, и ни одно моё *нет* не будет правдой тоже, потому что правдой будет одно единственное слово на романи, сказанное чужим горячим ртом в мои волосы.

Мири.

Моя.

Чайори, ты спрашиваешь, почему я не ушла. Почему не встала, не собрала чемодан, не вызвала такси, не уехала к Дрине под иву Йоноши, чтобы она залила мою грудь святой водой и заклинаниями и выжгла из меня этот воск и этот пот.

Я отвечу тебе честно.

Потому что к восьми часам вечера восьмого дня я уже знала: выжечь это нельзя. Нельзя отодрать от кожи. Нельзя смыть водой. Нельзя выплакать, выбросить, забыть. Это вошло в меня, как входит яд в кровь. Через ту самую запруду, которую открыла мне Дрина своими монетами и проро-

чеством много лет назад.

Я была отравлена.

И знала ещё одно, чайори. Знала с той минуты, как его сердце билось под моей ладонью.

Он отравлен тоже.

Нас двое теперь. Нас двое, и между нами три месяца до его мачехи. Шестьдесят пустых стульев в столовой. Сто метров сада. Тридцать семь шагов от его двери до моей, как я потом посчитаю. И одно единственное слово, сказанное мне в волосы: *мири*.

Встала с пола. Пошла к кровати. Легла не раздеваясь, прямо в платье и в маминой шали. Натянула одеяло до подбородка. Уставилась в потолок.

Потолок был белый.

Лежала и ждала, когда же этот первый, длинный, длинный день кончится. Ждала, и где то в саду шёл Миро, и я его слышала. Не ушами, чайори. Другим. Внутренним. Тем местом под рёбрами, которое у нас, Лэутари, умеет слышать.

И впервые в жизни, чайори, я поняла, за что бабушка так боялась меня. За что она стискивала мои ладони под ивой и просила запереть сердце на семь замков. За что плакала в ночь перед моим отъездом.

Она боялась не Сулеймана.

Она боялась этого.

Вот этого, когда девушка с русалочьей кровью впервые в жизни слышит мужчину всем телом, а не только ушами.

Потому что после этого, чайори, обратной дороги уже не бывает.

Не уходи, моя. Дальше пройдёт неделя, и я буду видеть его только за ужином, и он будет сидеть напротив меня в десяти стульях, и смотреть на меня поверх хрустального бокала, и ничем, ничем, ничем себя не выдавать. А я буду смотреть на него в ответ и тоже ничем не выдавать, а под столом мои пальцы будут крутить бабушкину монетку, и монетка нагревалась бы от моих пальцев до такого градуса, что в неё можно было бы прикурить, если бы бабушка разрешила.

Дальше Сулейман позовёт меня ночью в конюшню.

Одну.

Без Миро.

И покажет мне белую арабскую кобылу, и положит мою ладонь ей на морду, и встанет за моей спиной так близко, что я почувствую сандал, и скажет: «ты любишь лошадей, Патрина? Я помню, Дрина говорила, ты любишь лошадей. Она будет твоя. Моя тебе. Первый свадебный подарок. Назови имя».

И я назову.

Тсэра.

На романи, чайори, Тсэра означает звезда.

А звезда это всегда что-то, что горит и падает.

ЦЕНА ЛЮБВИ



Встречайте все книги литмоба "Цена Любви"

<https://litnet.com/shrt/nt5A>

1. Сладкая Арман "Невеста его отца"

<https://litnet.com/shrt/8Uix>

2. Миранда Шелтон "Нам нельзя. Сын моего жениха"

<https://litnet.com/shrt/AKcF>

3. Юлия Гойгель "Сын мужа. Научи меня любить"

<https://litnet.com/shrt/5laA>

4. Катя Островская "Любовь вне правил"

<https://litnet.com/shrt/13PY>

5. Вера Рудецкая "Цена одного "Да". Невеста отца"

<https://litnet.com/shrt/EXRk>

6. Бэта Джейн "Пять лепестков на удачу"

<https://litnet.com/shrt/U0Kz>

7. Люда Вэйд "Тебя не отпускаю"

<https://litnet.com/shrt/CUlp>

8. Зоя Берг "Невеста волка"

<https://litnet.com/shrt/-IEo>

9.Лебрута алей Ла, Майя Но "Ты (не) мой Сулейман"

<https://litnet.com/shrt/EE9g>

10.Мари Скай"Двойной капкан"

<https://litnet.com/shrt/nu3i>

11.Настя Перова"Ты будешь моей"

<https://litnet.com/shrt/PfCB>

12.АрмИя Бога"Запретная тема"

<https://litnet.com/shrt/B676>

13.Майя Рид"Чужая невеста. В плену у любви"

<https://litnet.com/shrt/-TQJ>

14.Ванесса Рай"Нежеланная. Моя навеки"

<https://litnet.com/shrt/65C7>

15. Нина Харт"Диана"

<https://litnet.com/shrt/5Df2>

16.Вивиана Торн"За гранью запрета"

<https://litnet.com/shrt/l-8Y>

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!



Глава 5. Хочу

Семь дней без него.

Утром просыпалась, прижимала ладонь к шее, к ключицам, к ямке между ними. Кожа помнила. Кожа предавала. Кожа звала.

А его не было.

Видела трижды. Издалека. И каждый раз моё тело делало то, чего я от него не просила.

Первый раз на рассвете, из окна. Шёл через двор от гаража, в чёрной футболке, мокрые волосы прилипли к шее, ткань обтягивала плечи так, что я видела, как под ней перекатываются мышцы с каждым шагом. Отступила от окна. Задела вазу. Пион упал на пол. Я не подняла. Стояла, вцепившись в подоконник, и дышала ртом, потому что нос забыл работать. Между ног стало горячо. От одного его затылка за стеклом, чайори. От одного затылка.

Второй раз в коридоре. После ванной. Босая, в халате, мокрые волосы на плечах. Дверь его спальни открылась.

Замерли.

В распахе рубашки бирюзовая бусина на кожаном шнурке. Лежала на ключице, на загорелой коже, поднималась с каждым его вдохом. Глаза мои сами пошли по этой бусине, вниз по линии шеи, к краю ключицы, к тёмной полоске волос, уходящей вниз по груди под ткань.

Он видел, как я смотрю. И медленно, невыносимо медленно облизнул нижнюю губу, не открывая рта.

Пробежала мимо. Влетела в свою комнату. Захлопнула дверь. Прижалась к ней лбом.

Дышала, как загнанная лошадь. Коротко, рвано, через полузакрытое горло. Пульс стучал в висках, на шее, в подушечках пальцев, и в том месте, в самом тайном, в самом стыдном, в самом честном месте моего тела, куда никогда не касалась мужская рука, пульс стучал тоже. Громче, чем в висках.

Колени разъехались сами. Спина скользнула по двери, и я оказалась на полу, полусидя, полулёжа, с раскинутыми ногами, и халат разошёлся, воздух комнаты коснулся моих бёдер, прохладный, нежный, и от этого прикосновения воздуха по коже пробежала волна мурашек, и соски под тонкой тканью затвердели так, что стало больно.

Положила ладонь на живот. Поверх халата. Не двигала. Просто положила, и тепло собственной руки разлилось по коже, вниз, к линии белья, и я думала: *вот так бы он. Своими пальцами. Теми, что пахнут медовым воском. Медленно. Сначала на живот. Потом ниже. Одним пальцем по краю ткани, не заходя, только касаясь, только обещая, и я бы выгнулась ему навстречу, и он бы почувствовал, как я хочу его, потому что там, внизу, чайори, там было мокро, там было так мокро, что мне было стыдно, мне было двадцать лет и я сидела на полу чужого дома с мокрым бельём от*

одного облизанного мужского рта в коридоре.

Убрала руку. Сжала кулаки. Упёрлась ими в пол по обе стороны от бёдер.

Нельзя.

Нельзя.

Нельзя.

Открыла глаза. Белый потолок. Белые стены. Белая клетка.

Между ног пульсировало. Ровно, настойчиво, невыносимо. Каждый удар сердца отдавался там, как будто сердце переместилось, опустилось из груди вниз, и теперь билось именно в той точке, где я хотела его пальцы. Его ладонь. Его рот.

Его губы. Я подумала и застонала. Вслух. Тихо, в пустую белую комнату. И звук собственного стога меня напугал, потому что в нём не было ничего знакомого. Не мой голос. Голос самки, которую я ещё не знала. Голос женщины, которая хочет мужчину так, что готова рвать зубами.

Встала. На подкашивающихся ногах дошла до ванной. Включила холодную воду. Встала под неё прямо в халате. Холод ударил по плечам, по груди, по животу, и я охнула, и прижалась спиной к кафелю, и стояла так, пока зубы не начали стучать.

Не помогло. Ничего не помогло. Холодная вода била по телу, а внутри, в самом центре, жар не уходил. Жар переселился. Жил теперь не на коже, а глубже, под рёбрами, в ко-

стях, в крови, там, куда не достаёт вода.

Третий раз увидела его у фонтана. На шестой день.

Стояла, обхватив каменного коня руками, лбом к его мокрому боку. Не слышала шагов.

Здравствуй.

Подняла голову. Он стоял по другую сторону фонтана. В перчатках для верховой езды, в высоких сапогах. Лицо покрасневшее от мороза. Волосы растрёпаны ветром. Одна прядь упала на лоб, и я подумала: *если бы я стояла ближе, я бы заправила эту прядь ему за ухо, и пальцы мои коснулись бы его виска, и висок был бы горячий, и пульс под его кожей стучал бы мне в пальцы, как стучал тогда, в ту первую ночь, когда я держала его запястье.*

Здравствуй.

Не спускаешься к уржину.

Не спускаюсь.

Почему?

Молчал. Стояли по разные стороны коня, и вода текла между нами, и пар нашего дыхания смешивался, и в этом совпадении было больше близости, чем во многих объятиях.

Потому что не умею сидеть за одним столом с отцом, когда на твоей шее его золото.

Сказал это и ушёл.

Стояла у фонтана. Под платьем, под бельём, между ног снова стало горячо, и я ненавидела себя за это, чайори. Ненавидела и не могла перестать. Потому что его голос, произ-

нёсший *на твоей шее*, прошёл по мне так, будто он сам провёл пальцами по этой шее, и по ключицам, и ниже, по вырезу платья, и ещё ниже, и мне было стыдно и мне было сладко и мне было невыносимо стоять.

Вернулась в белую комнату. Закрыла дверь. Легла на кровать. Лицом в подушку.

Лежала и думала о его руках. О том, как они держали поводья, в перчатках, широкие, уверенные. О том, какие эти руки без перчаток: горячие, шершавые, с мозолями у оснований пальцев и тонкими линиями на ладони. О том, как эти руки легли бы мне на бёдра. Крепко. Сжимая. Раздвигая.

Перевернулась на спину. Потолок белый. Люстра золотая. Между ног тяжёлый, мучительный, сладкий пульс, и каждый его удар требовал: тронь. Тронь себя. Представь, что это он. Закрой глаза и позволь себе. Никто не видит. Никто не узнает.

Правая рука сама поползла по животу вниз. Медленно. По ткани платья. По талии. По тазовой кости. Остановилась у линии белья. Пальцы легли на край. Один палец подцепил ткань.

И я представила. Всё сразу. Его лицо надо мной, его тёмные глаза с тем самым огнём, его дыхание на моих губах, горячее, рваное, и его шёпот: *мири*. И его руку вместо моей, большую, горячую, уверенную, но осторожную, потому что он осторожный, он всегда осторожный, он касается как касаются чуда, и его пальцы на мне были бы такими, как на моей

щеке в ту первую ночь: нежными до дрожи.

Закусила подушку. Сжала бёдра. Тело свело от макушки до пяток. Не от прикосновения. Даже не от фантазии. От одного его имени, произнесённого мной беззвучно в белую подушку.

Миро.

Волна прошла по мне, густая, тяжёлая, обжигающая, и я задрожала, и закрыла глаза, и прижала ладонь к себе через платье, всей ладонью, крепко, и от этого давления внизу живота что-то распустилось, раскрылось, как раскрывается цветок от тепла, и мне стало так хорошо и так стыдно одновременно, что я не знала, плакать или смеяться.

Лежала потом. Долго. Смотрела в потолок. Рука на животе, бессильная, мокрая ладонь. Сердце колотилось в рёбра.

Подумала: вот такая я теперь. Патрина Лэутари, невеста Сулеймана Ловари, лежит на белой кровати в белой комнате белого дома и сходит с ума от мужчины, которого видела три раза издалека.

Подумала: бабушка знала. Видела в монетах. Кровь лоховлицы, русалочья кровь. Русалка не выбирает, кого утащить на дно. Она просто видит мужчину, и всё. И тонет сама, раньше, чем он.

Подумала: мои глаза сейчас чёрные. Потому что всё, что я говорю себе про «нельзя» и «не положено» и «чужой дом», это ложь. Правда в том, что я хочу его. Правда в том, что от одного его облизанного рта в коридоре я села на пол. Правда

в том, что если он придёт ко мне ночью и коснётся моей шеи теми пальцами, я не скажу «уйди». Не смогу. Не захочу.

Перевернулась на бок. Свернулась клубком. Прижала колени к груди.

Между ног, всё ещё пульсировало. Тише. Медленнее. Но не отпускало. Как будто его имя, произнесённое в подушку, застряло там, внизу, и теперь жило во мне отдельной жизнью, и каждый его удар повторял: Мירו. Мירו. Мירו.

Закрыла глаза. Попробовала уснуть. Не вышло. Встала. Умылась ледяной водой. Посмотрела в зеркало.

Зелёные. Яростно, ядовито, бесстыдно зелёные.

Потому что только что, чайори, лёжа на белой кровати с рукой на животе и его именем на губах, я не врала. Ни себе. Ни зеркалу. Ни бабушкиным монетам, которые лежали под подушкой и всё чувствовали.

Впервые за неделю. Чистая, обнажённая, мучительная правда.

Хочу его.

Хочу каждой клеткой, каждой порой, каждым волоском на руках, каждым вдохом, каждым ударом сердца, и тем тайным ударом между ног, который теперь будет стучать его именем, пока я жива.

Хочу.

И от этой правды глаза мои горели зеленью, как два изумруда, вынутых из воды.

Дальше, будет хуже. Дальше Сулейман поведёт меня в

конюшню и подарит белую лошадь, и положит мне руки на плечи, и его пальцы будут ласкать мою шею сзади, и моё тело ответит на чужие умелые руки, и от этого ответа мне станет тошно. А потом Сулейман повезёт меня в Имаджинариум, и на мне будет янтарный шёлк и золото, и я выйду на чёрный мрамор арены в зеркальном платье. И в верхней ложе будет стоять Миро, потому что он приехал сам, без приглашения, на мотоцикле, через час за нами.

И я буду танцевать только для него.

А весь зал подумает, что для них.

Глава 6. Имаджинáриум

Доки на окраине Будапешта.

«Майбах» свернул с набережной в промзону, и за окном потянулись кирпичные стены, покрытые мхом и граффити, решётчатые заборы, бетонные столбы с порванными проводами. Ноябрьское небо давило сверху, серое, низкое, как потолок в допросной. Тут и там на асфальте стояли лужи, в которых отражалось это небо, и казалось, что земля дырявая и через каждую дыру видно одно и то же: серость.

Красивая часть Будапешта осталась позади, чайори. Тут был другой город. Город подвалов, складов, причалов, где днём разгружали контейнеры, а ночью происходило то, о чём утренние газеты не пишут.

Сулейман положил телефон в карман пиджака. Повернулся ко мне.

Не суди по обёртке, Патрина. Лучшие вещи прячут в самых неприглядных местах. Алмазы добывают из грязи. А грязь тут только снаружи.

«Майбах» остановился перед воротами

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.